

Я закрываю глаза и представляю себе эту тяжелую дорогу: сначала нужно подняться на три ступеньки, перешагнуть через высокий порог, открыть скрипучую дверь — в глаза брызнет стена яркого света, сотни голов повернутся в мою сторону, и под пулеметным обстрелом взглядов, в ослепительной тишине я подойду к роялю.

Я буду очень волноваться — сразу появится слабость в ногах, вспотеют руки и в совершенно пустой голове останется только одна мысль — не забыть наизусть.

Чтобы обрести уверенность, прикоснусь рукой к полированному боку рояля, на счастье, тихонечко, ребром ладони нажму ля бемоль второй октавы, усядусь поудобнее, увижу, как в зеркале, отражение своих дрожащих рук и положу их на клавиши.

Мой хороший товарищ — рояль — узнает меня, холодком клавиш остудит горящие пальцы, и я, наконец, начну.

Я брошу руки на клавиатуру, рояль вздрогнет, проснется, и яростно вызвелят октавы — начало 12 этюда Скрябина...

Профессор Яблоновский остановил меня в коридоре, крепко взял за рукав и сказал:

— Молодой человек, завтра вы играете на концерте этюд Скрябина, опус 8 № 12.

— Но профессор,— попытался отказаться я.— Я совсем не готов. И...потом у меня палец болит.

— Какой палец, покажите?

Сначала я выставил вперед указательный палец левой руки, потом добавил еще мизинец.

— Нет, нет, голубчик, никаких возражений,— убыбнувшись произнес профессор.— Мы вас уже и в программу включили. Значит, завтра, в семь часов вечера, готовьтесь...

Со стен консерваторского коридора на меня гордо смотрели портреты великих пианистов и композиторов. И мне показалось, они улыбаются, предчувствуя мой завтрашний позор.

Я взял в деканате разрешение порепетировать в Большом зале и уныло побрел на второй этаж...

Лакированный, словно начищенный сапожной ваксой, рояль мирно дремал в углу сцены и был похож на старичка, задремавшего за газетой.

— Ничего,— подумал я. — Сейчас проснешься.

Я выдвинул рояль на середину сцены. Он, как ребенок, не хотел просыпаться, упирался колесами в пол. Но я поднял крышку, удобно сел, попробовал педали и вдруг почувствовал, как рояль вздрогнул, насто-ро-

жился, заглянул мне в лицо всеми своими черно-белыми клавишами и попытался угадать, что сейчас заиграю. Тихо, правой рукой, я нажал ноту ми, затем ре диез,— звуки рождались из самого сердца рояля,— и мелодия Бетховенской «Элизы», изящная, как северский фарфор, засветилась и поплыла в темный, пустой зал.

Я закрыл глаза — музыка вдруг обрела тело, превратилась в грациозную девочку, я позвал ее к себе. Она появилась откуда-то из-за рояля, церемонно присела в книксене и, не касаясь пола, поплыла в зал. Я заглянул в ее широко раскрытые глаза — в них жили старинные канделябры, менуэты и парики, обсыпанные мукой...

Заскрипела дверь, из-за нее показался рыжий парик, и я узнал однокурсницу Светку.

— Слушай, маэстро,— сказала она.— Так ты на концерте играешь? Я уже и афишу видела. Спешите — единственная гастроль! Маэстро Воронцов проездом из Парижа в Ташкент.

— Не издевайся, не напоминай о будущих минутах позора.

— Сыграй, послушаю,— заявила Светка, удобно устраиваясь в кресле.

Я выдохнул весь оставшийся в легких воздух и взял предельный темп. Потом закрыл глаза, но ничего не приходило, в голове путались какие-то посторонние мысли: в кинотеатре «Пионер» опять пустили «Зеркало» Тарковского, нужно, наконец-то, отдать четыре рубля, взятые в долг у Сережи Оздоева.

— Слушай, маэстро,— сказала Светка,— что ты паникуешь, да все нормально. Темпик высший, и октавки чистенькие. Только, наверное, не представляешь, о чем эта музыка. Влюбился, похоже, Скрябин, в какую-то роковую женщину. Давай, начни сначала.

Я начал снова и честно попробовал представить себе эту женщину. Она явилась мне цыганкой в широкой красной юбке, плечи были укутаны в оренбургский пуховый платок и почему-то она говорила: «Дай погадаю, красавчик».

— Да ну, бред какой-то,— сказал я и остановился.— Никакой любви тут нет.

— Конечно, здесь одна любовь,— не согласилась со мной Светка,— сейчас докажу, только Валеру приведу, он рядом, в столовой. Он тебе тоже в два счета объяснит, что это любовная музыка.

Светка вышла из зала, я закрыл крышку рояля, на прощанье погладил его лакированный бок и пожелал спокойной ночи.

У дверей столовой я наткнулся на валторниста Валеру.

— Ну что ты, старик,— сказал он, хлопнув меня по плечу.— Это же элементарно. Двенадцатый этюд Скрябина — это море. Летом я плавал по Черному морю на теплоходе, штормяга была — ужас. Вот представь себе...

— Ладно,— перебил я,— спасибо. Попробую представить.

Я снял плащ с вешалки в раздевалке и вышел на улицу.

Наша консерватория, наверное, единственная в мире носит корсет. После землетрясения рабочие крепко-накрепко обтянули ее рельсами, и консерватория стала напоминать старую даму, затянувшую грузное тело в корсет и вдруг застывшую в неподвижности, не успев надеть модное платье.

Я поднял воротник плаща, глубоко засунул руки в карманы и пошел на автобусную остановку. С рекламной тумбы в лицо заглянули красные буквы: «Михаил Воронцов». Ведь это же обо мне, вдруг понял я.

Я подошел к афише вплотную и зачем-то начал водить пальцем вдоль каждой строчки.

## КОНЦЕРТ

28 октября в Большом зале Консерватории состоится концерт, посвященный годовщине Великого Октября.

В программе: Бетховен — 3-я симфония, исполняет симфонический оркестр.

Хачатурян — Танец с саблями — Унисон скрипачей.

Скрябин — Этюд оп. 8 №12, исполняет Михаил Воронцов.

Неожиданно набежала черная мохнатая, вся в оранжевых прожилках туча, вмиг затянула еще недавно голубое небо, и вот уже медленно и лениво упали первые капли, разведчики дождя. Дождь-пианист давал городу осенний концерт, разыгрывая на клавиатуре домов и мостовых свою водную сонату. И, словно боясь опоздать к началу концерта, люди торопились занять места в подъездах домов, под раскидистыми кронами деревьев. А потом молча стояли и слушали...

К остановке подкатил автобус, я вскочил на подножку — двери закрылись, буквы на афише стали удаляться, потом расплылись в одно красное пятно и исчезли совсем. Завернув за угол, автобус набрал скорость. Скоро потянулись одноэтажные дома, появились заборы, все как один окрашенные в зеленый цвет. Дождь пошел сильнее, непрозрачной тканью занавесил толстые автобусные стекла, и как ни вглядывался я сквозь них, за окном висела тусклая серая пелена.

Наконец автобус остановился, водитель громко произнес:

— Приехали, товарищи, конечная.

И я, стараясь не попасть в лужу, спрыгнул с подножки.

В этом районе я не был уже черт знает сколько времени и теперь озирался по сторонам, стараясь узнать что-нибудь знакомое.

Может быть здесь? Я подошел поближе. Да, это был тот самый дом. Я поднялся на приступку, увидел знакомую дверь. Как и раньше, она была обита черным дерматином. Когда-то блестящий, лоснящийся дер-

матин потускнел от времени, покрылся глубокими паутинками морщинок, и лишь аккуратный квадратик медной пластинки тускло выделялся на его темном фоне.

Мария Ивановна ВЕРБА.  
Учитель музыки.

Я покрутил старинный звонок, за дверью послышались медленные неуверенные шаги, дверь приоткрылась, и я увидел Марьиванну.

— Постой, постой, кто же это ко мне пришел? Неужели Воронцов,— сильно щурясь, сказала она.

— Простите, Мария Ивановна, давно собирался зайти, да все некогда.

— Ладно-ладно, не оправдывайся. Проходи, только помнишь, небось, что ботинки снимать нужно?

Она прошла вперед, в комнату, и лишь сейчас, на свету я заметил, как она постарела. Совершенно седые ее волосы поределли, но, как и раньше, были аккуратно уложены и заколоты большим гребнем.

— Ну-ка сядь, я на тебя смотреть буду,— сказала Марьиванна.— Вырос-то как, возмужал. А помнишь, когда в первый класс ко мне пришел, совсем маленького росточка был. Ну, рассказывай!

— У меня все нормально, Марьиванна, лучше скажите, как вы.

— Да вот, уже три года как на пенсии... Но все равно, не могу без детей, ведь всю жизнь вас учила. Заташу к себе соседских ребятишек и играю им Шопена и Рахманинова. Сначала ерзают на стульях, шумят, а потом, слышу, затихают, значит, думать начинают... Да ты, наверное, замерз? Давай чай пить.

Марьиванна постелила на стол старенькую пеструю скатерть, расставила чашки, достала из массивного буфета варенье, и мы сели пить чай...

— Ну-ка, покажи ладони,— вдруг попросила Марьиванна.

Я протянул ей руки ладонями вверх. Своими сухими, покрытые старческой гречкой пальцами она легонько ощупала мои подушечки.

— Мозолей нет,— покачала она головой,— совсем не занимаешься. Ну, хватит чаи гонять. Садись за инструмент, порадуй старуху.

Я сел за фортепиано, — это был старый знакомый «Красный Октябрь», научивший меня играть. Обернувшись к Марьиванне, я улыбнулся ей и начал «Василек, василек, мой любимый цветок» — мой самый первый номер. Как и в глубоком детстве, на ноте соль третьей октавы не хватало белой костяной пластинки.

— Ну, хватит воспоминаний,— сказала Марьиванна,— над чем сейчас работаешь?

— Завтра концерт в Большом зале. Буду играть этюд Скрябина.

— Опус 8 номер 12? — быстро спросила она.

Я кивнул и приготовился начать.

— Погоди, погоди.

Марьиванна почему-то закрыла глаза, откинулась на спинку стула, и мне показалось, что она ушла куда-то далеко-далеко из этой комнаты.

— Играй,— вдруг тихо сказала она...

... Я взял последний аккорд, обернулся. Марьиванна все сидела с закрытыми глазами, потом резко встала, подошла к буфету, выдвинула ящики, достала бережно завернутый в бумагу пакет, вернулась к столу, сдвинула в сторону чашки и развернула бумагу. Я увидел альбом в красной сафьяновой обложке, к которой была прикреплена пластинка с гравировкой:

«Революционному бойцу МАРИИ ВЕРБЕ  
от командования 6-ой Кавбригады».

— Что, не ожидал? — улыбнулась Марьиванна.— Не всегда же я старухой была.

Она перевернула обложку. С пожелтевшей от времени фотографии с оторванными краями на меня смотрела молодая Марьиванна. Одета в красноармейскую форму, она сидела на коне, грозно сдвинув брови под буденовским шлемом. Видно было, как трудно давалась ей эта серьезность, казалось, еще секунда — и она весело рассмеется.

— А вот наш эскадрон,— сказала Марьиванна и перевернула следующий лист.

Шестеро ребят, моих ровестников, напряженно и внимательно вглядывались с фотографии в мое лицо.

— Это Вадим Авдющенко,— произнесла Марьиванна,— сочинял прекрасные стихи. Погиб под Каховкой. А вот Сережа Чернавский, мечтал стать скрипачом. Погиб уже позже, под Варшавой, в двадцатом... Ваня Репин — очень любил лес, хорошо рисовал. Его унесла Отечественная, похоронен в Сталинграде. Фархад Усманов, мечтал выучиться на геолога. Басмачи убили. Жорик Удовиченко, наш фотограф. Погиб на Халкин-Голе. А это Саша Воронин, хотел стать летчиком и стал им. Не вернулся из Испании.

Я смотрел на их юные лица и думал: а я смог бы умереть под Каховкой в восемнадцать, в тридцать шесть не вернуться из Испании, в сорок два погибнуть в Сталинграде?

Марьиванна перевернула еще один лист, и я увидел... афишу. Этот маленький лист темной шершавой оберточной бумаги трудно было назвать афишей, но на нем от руки красной тушью было написано:

## КОНЦЕРТ

Завтра (28 октября) в казармах 6-ой Кавбригады на реквизированном у буржуев рояле наш товарищ красный боец МАРИЯ ВЕРБА исполнит революционные сочинения: этюд Скрябина, этюд Шопена и песню «Интернационал».

### СМЕРТЬ МИРОВОЙ БУРЖУАЗИИ!

— Но концерт не состоялся,— сказала Марьиванна.— Нашу бригаду подняли по тревоге, белые прорвали фронт... Времени-то сколько? — она посмотрела на часы.— Поздно уже. Иди Миша, иди милый. Тебе нужно как следует выспаться. Завтра же играешь.

— Марьиванна,— сказал я.— Можно вам руку поцелую...

Я вышел на улицу и оглянулся. На темном фоне едва заметно выделялась медная пластинка. Я вернулся, подышал на медный квадратик и несколько раз провел по нему рукавом. И медь, согретая моим дыханием, вдруг заблестела, высветила буквы:

Мария Ивановна ВЕРБА.

Учитель музыки...

...Я поднялся на три ступеньки, перешагнул через высокий порог, открыл тяжелую скрипучую дверь — в глаза брызнула стена яркого света. Сотни голов повернулись в мою сторону, и под пулеметным обстрелом взглядов, в ослепительной тишине подошел к роялю.

Чтобы обрести уверенность, прикоснулся рукой к его полированному боку, на счастье, тихонечко, ребром ладони нажал ля бемоль второй октавы, уселся поудобнее, увидел, как в зеркале, отражение своих рук и положил их на клавиши.

Мой хороший товарищ — рояль — узнал меня, холодком клавиш остудил мои горячие пальцы, и я наконец начал.

Я бросил руки на клавиатуру, рояль вздрогнул, проснулся, и яростно зазвенели октавы — начало 12 этюда Скрябина.